

ДОРОГА К МОРЮ

Тод отраживает дни, а человек — отражения. Для года дни — точно раковины для устрицы, и он рождается и умирает три с половиной сотни раз. У человека отражений еще больше: я тот, кто...

Сквозь мутные стекла я смотрю, как меняется пейзаж, но то и дело вижу свое лицо.

За окном — крымская дорога. Песочного цвета холмы, серпантин. Дома, кладбища, пыльные стены и кресты; просвеченные солнцем клены и руины вдалеке. Чтобы рассказать об этом, нужны слова: одно, другое, третье — но после речи остается что-то слитное, нераздельное: мягкое золотистое тепло, пронизанное шорохом колес и запахом нагретой земли.

Из этого живого тепла, как из глины, можно вылепить формы и образы. Вдоль дороги — бетонный забор, на блоках краска облупилась так, что везде повторяется один силуэт: женщина, простирающая руки к небу. На горизонте — низкие дымчато-сизые горы, которые кажутся замшелыми из-за лесов на склонах. У обочины — сухое дерево, белое, точно кость.

Кто знает, из чего отливаются формы и образы «я» и есть ли хоть что-то, кроме памяти, что связывает их между собой.

Я помню апрельскую метель и другую дорогу: грязно-белую, хлюпающую, летящую. Вокруг была сплошная мешанина: не понять, где небо и где земля; где ты, а где — кто-то еще. Вода текла по стеклам, и в ней блесгли тающие кристаллы снега, словно не до конца растворенная соль. Все становилось морем, в котором ни у чего нет меры, а есть только морок и смерть.

Когда стемнело — как будто бы слишком рано, — снег стал реже и день закончился вместе с ним, тоже пронесся перед глазами.

Прошедшие дни — пустые раковины: время выбрасывает их на берег, под ноги проходим. Кто-то растопчет — и среди осколков потом уже не разберет, что и когда было. Кто-то поднимет и сохранит. Но, как жемчуг добывают, вскрывая устрицу, так и день нужно резать по живому, чтобы найти по-настоящему ценное.

И в любом дне живое — это ты сам.

Я смотрю за окно и думаю, что, когда год умрет в последний раз, я вспомню, каким он был, и не узнаю свое отражение. Но, может быть, у меня останется несколько мелких жемчужин, похищенных то ли у моря, то ли у времени.

ВЕЩНАЯ ПАМЯТЬ

Старый дедушкин дом нагонял на меня тоску одним видом. Приземистый и кособокий, он теялся в пыльной зелени длинного тупика почти в самом сердце города. Сердце это давно одряхлело и едва билось: зарастали бурьяном скверы; ветшали стены из камня и дерева; замолкали, цепенели по вечерам улицы. Чувствуя, что жизнь оставляет город, уезжали куда глаза глядят все, кто мог. Мы с родите-

лями перебрались в далекую столицу, когда мне исполнилось восемь. Дедушка же почему-то и думать об этом отказался — последние годы он провел в одиночестве, только поначалу на каникулах к нему отправляли гостить меня.

Внутри дом тоже мало кто назвал бы уютным. Тесные душные комнаты, словно чуланы, были заставлены громоздкими шкафами, полными вещей и вещей

из прошлого. В детстве я мог подолгу рассматривать их — чернильницу в виде собаки с откидывающейся головой, медные часы на цепочке — и гадать, кому они служили. Но дедушка, вечно угрюмый и подозрительный, нечасто позволял мне трогать хоть что-нибудь и еще реже отвечал на расспросы, так что в конце концов интерес сменился разочарованием. Будто я упорно пытался собрать мозаику, в которой не хватало половины деталей.

Особое место в доме занимали фотографии. Под них были отведены две широкие полки, одна над другой: нижняя — для портретов живых, верхняя — для мертвых. Родственники и друзья семьи, дедушкины одноклассники и сослуживцы, знакомые и незнакомые мне люди — они улыбались, хмурились, оправляли мундиры, тянулись куда-то за границу кадра; *жили*. Порой казалось, что между ними нет никакой преграды, что все вместе они наблюдают за мной, пересмеиваются и вот-вот заговорят. В такие минуты я замирал у полки и прислушивался, мне становилось и страшно, и весело, точно перед прыжком в воду, — но вокруг невидимой пылью оседала тишина, все сразу немело, скучнело, и только где-то назойливо жужжала оса или муха.

Дедушка умер, когда мне было четырнадцать. В тот год я снова не поехал к нему: лето сулило мне яркие встречи, знакомства, открытия. Смерть так и осталась чем-то далеким и ненастоящим, я лишь никак не мог отделаться от глупой мысли. Мне вспоминалась фотография, на которой мы с дедушкой сидели рядом, и я все старался понять, на какую полку ее теперь следует поставить. Ведь один из нас был жив, но другой — мертв.

Как оказалось, я изводился напрасно. После похорон отец забрал фотографии с собой, а «прочую рухлядь» сложил в картонные коробки. Я нашел их в бывшей спальне нетронутыми, когда спустя много лет работа вынудила меня на несколько недель вернуться в прежний городишко, в старый дом.

Почти каждую ночь я жалел, что согласился на командировку. Меня мучила бессонница, раздражали все запахи и звуки. Вместо привычного гула машин темнота здесь полнилась скрипами и шорохами: что-то скреблось в углу, шелестел ветер, ветви стучали в приоткрытое из-за жары окно. Наверное, поблизости дышал дурманом болиголов, и этот тяжелый дух, днем незаметный, въедался в кожу, будто ее натирали соцветиями (давным-давно из любопытства я сорвал мелкие белые зонтики и потом долго отмывал от них руки). Вдобавок откуда-то слабо тянуло гарью. Наутро же, как ни странно, я не чувствовал даже усталости — разве что был немного рассеяннее обычного. Неудивительно, что однажды, на ходу застегивая рубашку, я запнулся о так и стоявшие вдоль стены

коробки и услышал, как жалобно зазвенело внутри стекла.

После этого я принялся разбирать дедушкины пожитки — такое занятие не хуже других годилось для того, чтобы коротать бесконечное вечернее время. Картина мне, правда, открылась печальная. Все безделушки, бережно хранимые когда-то, сейчас валялись вперемешку и, казалось, почти срослись друг с другом, стали чем-то, что можно походя назвать общим словом, не размениваясь на имена. Это был хлам. Я вынимал вещь за вещь и видел *нечто ненужное*, или *нечто истрепанное*, или *нечто бесполезное*, прежде чем узнать портсигар, или кошелек, или стеклянный шар с искусственным снегом. А ведь дедушка, бывало, говорил и вовсе иначе: память о Ваньке-слепом, счастливая находка, подарок сестры — но для меня это было пустым звуком.

И все-таки скоро я поймал себя на том, что продолжаю детскую игру — свои особые фанты. Я наугад вытаскивал предметы и воображал себе их прежних владельцев, походивших то на героев живописных полотен, то на незнакомцев с дедушкиных фотографий. Вот — набивает резную трубку черноусый мужчина в шапке, залихватски сдвинутой набекрень; он привык курить, когда чего-то дожидается. Вот — застегивает на груди овальную брошь-камею женщина, точь-в-точь с портрета позапрошлого века; она поранила палец и теперь хмурится, считая это дурным предзнаменованием. Вот — испуганно озирается ребенок с лохматой челкой; он случайно отколол хвост фарфоровому спаниелю... Представляя подобные сценки, я всегда пытался разглядеть больше, но не мог: вещи охотно рассказывали о пристрастиях, оплошностях, слабостях хозяев и молчали о том, были ли те доброго или злого нрава, любили их или ненавидели.

Я начинал возиться с коробками засветло и часто засиживался допоздна. За окном смеркалось, лампы в доме горели тускло, и ко мне подкрадывались вместе с тенями призраки тех, о ком я думал. Словно в китайском театре, кто-то разыгрывал передо мной все, что случилось в другом месте и в другое время — или только могло случиться. Я узнавал чужие привычки, видел неловкие движения, отпечатки которых хранили вещи, и по-своему привязывался к то ли реальным, то ли вымышленным людям, державшим эти вещи в руках.

Спать я часто ложился перед рассветом — и неотступные образы проникали в короткий тревожный сон. Мне чудилось, будто дом уже не дом, а корабль. За бортом блестела свинцовая гладь реки, над водой витал странный мышинный запах, из-за которого путались мысли и воспоминания. А на палубе бродили знакомые призраки. Они снова и снова повторяли пустяковые действия — отстегивали запонки, про-

тирало очки, — точно много раз проживали одно мгновение. Я хотел окликнуть их — и не слышал собственного голоса, хотел приблизиться — и наткнулся на невидимую стену. Казалось, не хватает самой малости, чтобы стена рухнула и жизнь для всех опять пошла своим чередом, — но я, как ни силился, не мог понять, что это за малость.

Так день за днем я все больше погружался в мир, который манил меня в детстве. Я изучал собранный дедушкой музей: рассматривал, разглаживал, расставлял все на полках. Порой задумывался: что будет, когда настанет пора уезжать, — ведь здесь не нашлось бы ничего нужного и дорогого мне, так что рано или поздно пришлось бы вновь все убрать и забыть, как забывают о любом старье. Но пока у меня еще было для него немного времени.

Наконец в углу осталась всего одна коробочка. Чуть меньше прочих, с помятым верхом, до того пыльная и грязная, что раньше я отодвигал ее в сторону, едва взглянув. Теперь же и последний вечер обещал быть таким — пыльным, тоскливым, под стать и самому дому, и городу. Ничего не изменилось. Поморщившись, я открыл коробочку. Внутри поверх остального лежал маленький желтый мяч, неуместно яркий здесь, среди серости. Я достал его, перекинул из одной руки в другую — и замер. Я вспомнил: этот мяч дедушка купил по моей просьбе.

Кажется, тогда он потратил гроши, но смотрел на меня так, будто сделал большое одолжение. Я чувствовал себя виноватым и обиженным сразу, поэтому спрятал новую игрушку куда подальше. Дедушка ничего не сказал, но усмехался, как умел только он, самодовольно и хитро. А еще — почему-то вспомнилось — он всегда склонял голову набок, если был раздрадован. А когда беспокоился — сцеплял пальцы в замок... Я удивился, что так ясно представляю это, хотя столько лет не думал о дедушке вовсе, да и едва ли вообще когда-нибудь сильно его любил. Но я многое видел, а сейчас вспоминал — и, словно витраж из кусочков цветной слюды, из сотни мелочей складывался один образ.

Был такой человек, который клал в чай ровно полложки сахара и неодобрительно косился на тех, кто брал больше.

Был такой человек, который любил разворачивать кресло к окну, но никогда не глядел туда; держал перед собой газету или просто сидел, согнувшись и уставившись в пол, так, что свет падал ему на макушку.

Был такой человек, который, узнав, что соседи за спиной прозвали его Плюшкиным, на следующий день вышел на улицу в засаленном и рваном халате, до того служившем половой тряпкой.

Был такой человек, который по ночам мерил шагами комнату, полы скрипели, и я, проснувшись, слышал, как он останавливается у комода, открывает дверцу и шуршит чем-то — старым письмом или просто листом бумаги, — а потом, вздыхая, снова ходит из угла в угол.

Был такой человек — и мне становилось горько от того, что больше его нет на земле.

Задумавшись, я не заметил, как выронил мяч, и тот куда-то укатился. Я обернулся, чтобы найти его, — и в лицо мне ударило закатное солнце. Слепящее, янтарно-алое, оно опалило ветви чахлого клена во дворе и залило комнату огнем. У меня мелькнула мысль, что это неправильно, что окно здесь всегда смотрело на восток, но я сразу же обо всем забыл. Перед глазами клубилась золотистая дымка, и мне показалось, будто сквозь нее я различаю чью-то фигуру в кресле, придвинутом к подоконнику спинкой. Я сощурился и узнал дедушку. Он выглядел совсем старым и слабым — должно быть, таким он стал в последние месяцы, когда в одиночестве, ничего не сказав моему отцу, медленно сдавался болезни. Сейчас дедушка тоже закашлялся, затрясся, и я невольно подался вперед: похоже было, что он вот-вот завалится набок. Но тут кашель перешел в смех, дедушка наклонился, поднял с пола мяч и бросил мне, так сильно, что я едва сумел его поймать. В этот миг марево рассеялось, кресло опустело. Только мяч был странно теплым, словно нагретым солнцем. Держа его на ладони, я чувствовал, что дедушка все еще рядом и между нами нет никакой преграды.

И смерти будто бы тоже нет.